

*Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне,
ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди
к братьям Моим и скажи им: восхожу
к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу
Моему и Богу вашему.*

Евангелие от Иоанна. 20:17



Часть I
ПЛОТЬ И КРОВЬ

1



Говорили, что на чердаке умер ребенок. Его одежду нашли в стене.

Мне хотелось подняться туда, лечь у стены и остаться одному.

Иногда здесь встречаются привидение — призрак ребенка. Но никто из вампиров, как правило, призраков видеть не умеет, во всяком случае, так, как я. Не важно. Ребенок меня не интересовал. Я не искал общества ребенка. Мне просто хотелось побыть там.

Оставаться и дальше рядом с Лестатом бесполезно. Я пришел. Я выполнил свой долг. Я ничем не мог ему помочь.

Взгляд его пронзительных, сосредоточенных, застывших глаз заставлял меня нервничать, лишал присутствия духа, хотя в глубине души я оставался спокойным, меня переполняла любовь к близким — к моим смертным детям, темноволосому Бенджи и нежной, гибкой Сибил, но у меня пока не хватало сил их забрать.

Я ушел из часовни.

Я даже не обратил внимания на остальных. Весь монастырь превратился в обитель вампиров. Не то

чтобы он казался диким или заброшенным, но я не заметил, кто оставался в часовне, когда я уходил.

Лестат по-прежнему лежал на мраморном полу часовни перед огромным распятием. Поза его оставалась неизменной: на боку, с расслабленными руками, левая ладонь накрывает правую, и пальцы ее при этом слегка касаются пола — как будто намеренно, хотя ни о каких намерениях и речи быть не могло. Пальцы правой руки изогнулись, образовав впадинку в ладони там, куда падал свет, что тоже казалось осмысленным жестом, хотя никакого смысла здесь не было.

В течение многих месяцев Лестат пребывал без движения, превратившись в безвольное сверхъестественное тело, однако выражение его лица было почти вызывающе разумным.

Перед рассветом высокие витражи надлежащим образом зашторивали, а по ночам в них играли отблески чудесных свечей, расставленных между изящными статуями и реликвиями, наполнявшими этот когда-то освященный дом, где под высокими сводами дети слушали мессу.

Теперь оно принадлежало нам. Ему — Лестату, мужчине, лежавшему без движения на мраморном полу.

Мужчине. Вампиру. Бессмертному. Сыну Тьмы. Любое из этих слов отлично ему подходит.

Оглянувшись на него через плечо, я, как никогда, почувствовал себя ребенком. Такой я и есть. Я вписываюсь в это определение, как будто оно во мне закодировано, как будто это единственно возможная для меня генетическая схема.

Когда Мариус сделал меня вампиром, мне было, наверное, лет семнадцать. К тому моменту рост мой составлял пять футов шесть дюймов и весь последний год оставался неизменным. У меня были изящные, как у женщины, руки и по-детски чистое лицо — я, как мы выражались в то время, в шестнадцатом веке, был безбородым. Не евнухом, нет, конечно нет, отнюдь, но совсем еще мальчиком.

В те времена красота юношей ценилась не в меньшей степени, чем прелесть женщин. Только теперь мне кажется, что в этом есть какой-то смысл, и то потому, что я люблю своих собственных детей: по-девичьи длинноногую Сибил с грудью женщины и Бендажи с круглым напряженным арабским личиком.

Я остановился у подножия лестницы. Никаких зеркал — лишь потемневшие от сырости высокие кирпичные стены с ободранной штукатуркой; только в Америке такие здания могут назвать старинными. Знойное новоорлеанское лето и сырая, промозглая зима — зеленая зима, как я ее называю, потому что листья с деревьев здесь практически не опадают, — наложили на все свой отпечаток.

По сравнению с обычным для этого города климатом в стране, где я родился, царила, можно сказать, вечная зима. Не удивительно, что в солнечной Италии я совершенно забыл о своих истоках и с легкостью принял тот образ жизни, которому следовали в доме Мариуса. «Я не помню» — эта формула стала своего рода заклинанием. Только при этом условии можно было так полюбить порок, так пристраститься к итальянскому вину, обильным трапезам и даже к ощущению теплого мрамора под босыми ногами,

когда комнаты палатцо Мариуса самым грешным, безнравственным образом отапливались бесчисленными каминами.

Его смертные друзья — когда-то и я принадлежал к их числу — без конца бранили его за расточительство: за излишние траты на дрова, масло, свечи. А Мариус признавал только самые изысканные свечи, из пчелиного воска. Для него имел значение каждый аромат.

«Прекрати думать об этом,— уговаривал я себя.— Отныне воспоминания не должны тебя ранить. Ты пришел сюда ради дела. Теперь с ним покончено, пора найти тех, кого ты любишь,— юных смертных, Бенджи и Сибил,— и жить дальше».

Жизнь уже не театральная сцена, где вновь и вновь появляется и со зловещим видом сидит за столом призрак Банко.

Душа у меня болела.

Пора подняться наверх. Отдохнуть немного возле кирпичной стены, где нашли детскую одежду. Лечь рядом с ребенком, убитым в монастыре, как утверждают сплетники-вампиры, новые призрачные обитатели этих залов, пришедшие посмотреть, как спит сном Эндимиона великий Вампир Лестат.

Я не ощущал запаха убийства — слышал лишь нежные голоса монахинь.

Я поднялся по лестнице человеческим шагом. За пятьсот лет я научился этому в совершенстве. Равно как и умению пугать молодежь — как постоянных обитателей этого дома, так и случайных посетителей — не хуже любого из Старейших. Даже самые скромные из них не упускают случая продемонстри-

ровать свой дар телепатии или способность мгновенно исчезать, словно растворяясь в воздухе, а то и слегка сотрясти стены в восемнадцать дюймов толщиной с нетленными кипарисовыми подоконниками.

Ему должны понравиться эти запахи, подумал я. Мариус... Где он? Прежде чем поговорить с ним, я предпочел навестить Лестата, а потому мы успели обменяться лишь несколькими вежливыми словами, когда я оставлял на его попечение свои сокровища.

Ведь я привел в логово бессмертных своих детей, так кто способен защитить их лучше, чем мой любимый Мариус — такой могущественный, что никто здесь не посмеет перечить ему.

Естественно, между нами нет телепатической связи, ведь Мариус — мой создатель. Но не успел я подумать об этом, как осознал, что не ощущаю ни малейшего свидетельства его присутствия в здании. Откуда мне знать, что происходило в тот короткий промежуток времени, пока я стоял на коленях перед Лестатом. Я понятия не имел, где сейчас мог быть Мариус. Я не чувствовал знакомых человеческих запахов Бенджи и Сибил. Меня парализовал ужас.

Я остановился на втором этаже и прислонился к стене, с показным спокойствием разглядывая лакированные сосновые половицы. На паркете образовались желтые островки света.

Где же Бенджи и Сибил? Что я наделал! Зачем привел сюда двух очаровательных смертных — Бенджи, живого, подвижного мальчика двенадцати лет, и двадцатипятилетнюю Сибил. А вдруг Мариус, столь благородный по своей натуре, выпустил их из виду?

— Я здесь, дитя.— Как обрадовал меня этот раздавшийся совсем рядом отчетливый, тихий и доброжелательный голос! Прямо подо мной в пролете лестницы я увидел своего создателя. Он следовал за мной вверх по лестнице или, скорее, оказался там с помощью своей силы и скорости, безмолвно и незаметно преодолев разделявшее нас расстояние.

— Мастер,— сказал я со слабой улыбкой, словно извиняясь.— В какой-то момент я за них испугался. Мне здесь грустно.

Он кивнул.

— Они со мной, Арман,— сказал он.— Этот город кишит смертными. Сколько бы здесь ни бродило скитальцев, пищи хватит на всех. Их никто не обидит. Даже если бы меня здесь не было, никто не осмелился бы.

Наступила моя очередь кивать. Но я не разделял его уверенность. Вампиры по природе своей капризны и часто совершают ужасные, жестокие поступки просто так, ради собственного удовольствия. Какой-нибудь заезжий мрачный чужак, привлеченный необычными событиями, вполне может развлечься, убив чужую смертную зверюшку.

— Ты просто чудо, дитя мое,— улыбнулся Мастер. Дитя! Кто, кроме Мариуса, моего создателя, мог бы так меня назвать. Но что для него пятьсот лет? — Ты ушел на солнце, сын мой,— продолжал он с озабоченным выражением на добром лице.— И выжил, чтобы рассказать свою повесть.

— На солнце, господин? — переспросил я. Однако мне не хотелось что-либо рассказывать. Еще не пришло время описывать, что произошло на самом

деле, обсуждать легенду о Плате Вероники и запечатленном на нем во всем величии славы лике нашего Господа, равно как и события того утра, когда я с готовностью отказался от своей души. Какой чудесный миф был создан из этой истории!

Он поднялся по ступенькам и опустился рядом со мной, соблюдая, однако, вежливую дистанцию. Он всегда оставался джентльменом, даже когда этого слова еще не существовало. В древнем Риме наверняка было слово, обозначающее таких людей — неизменно хорошо воспитанных, считавших делом чести оказывать внимание другим, одинаково любезных как с бедными, так и с богатыми. Таков уж Мариус, и, насколько я знаю, он таким был всегда.

Он положил свою белоснежную руку на невзрачные атласно-гладкие перила. На нем был длинный бесформенный плащ из серого бархата, когда-то чрезвычайно экстравагантный, теперь же поблекший от времени. Светлые, длинные, как у Лестата, волосы, взъерошенные от сырости, даже усеянные каплями росы с улицы, той же росы, что осталась на его золотых бровях и заставила потемнеть длинные ресницы вокруг больших кобальтово-синих глаз, поблескивали на свету.

В нем присутствовало что-то нордическое, холодное, в отличие от Лестата, чьи волосы всегда отливали золотом и сияли ярким светом, а призматические глаза поглощали все краски, приобретая еще более великолепный фиолетовый оттенок при малейшем проявлении внимания боготворящего его внешнего мира.

В Мариусе же я видел солнечное небо диких северных земель, его глаза излучали ровный свет, отвергая любой цвет со стороны, оставаясь идеальными зеркалами его неизменной, в высшей степени благородной души.

— Арман,— сказал он.— Я хочу, чтобы ты пошел со мной.

— Куда, Мастер? — спросил я. Мне тоже хотелось быть с ним предельно вежливым. Невзирая на любые столкновения, он всегда порождал во мне возвышенные инстинкты.

— Ко мне домой, Арман, туда, где они сейчас находятся, Сибил и Бенджи. Нет, не бойся за них. С ними Пандора. Это поразительные смертные, блистательные, на удивление разные и одновременно в чем-то похожие. Они тебя любят, они так много знают и уже успели пройти с тобой долгий путь.

Мне в лицо бросилась горячая кровь; ощущение теплоты было колючим и неприятным, а когда кровь отлила от кожи, стало прохладнее, и меня странным образом раздражал тот факт, что я вообще испытываю какие-то ощущения.

Меня потрясло пребывание в монастыре, я стремился поскорее его покинуть.

— Мой господин, я не знаю, кем я стал в новой жизни,— с благодарностью откликнулся я.— Переродился? Запутался? — Я заколебался, но что толку останавливаться? — Пока что не проси меня остаться. Может быть, позже, когда Лестат придет в себя, когда пройдет достаточно времени, может быть... Я точно не знаю, но сейчас принять твое любезное приглашение я не могу.

Он коротко кивнул в знак согласия и сделал рукой жест, означающий уступку. Старый серый плащ соскользнул с плеча, но он, казалось, даже не обратил на это внимания. Его тонкие шерстяные одежды пришли в небрежение, на отворотах и карманах лежал слой серой пыли. Подобное отношение к собственной внешности было ему совершенно не свойственно.

Горло его прикрывала полоса ослепительно белой ткани, благодаря чему бледное лицо выглядело почти человеческим. Но шелк порвался, как будто он продирался в нем через заросли ежевики. Короче говоря, эта одежда больше подходила для привидения, чем для того, кто привык появляться в свете. Она стоила бы для неудачника-бродяги, но не для моего старого Мастера.

Наверное, он знал, что я зашел в тупик. Я смотрел вверх, во мрак. Мне хотелось попасть на чердак, к спрятанной там одежде мертвого ребенка. Меня заинтересовала эта история. У меня хватило наглости размяться, хотя он все еще ждал. Его ласковые слова вернули меня к реальности.

— Когда тебе понадобятся Сибил и Бенджи, ты найдешь их у меня,— сказал он.— Это недалеко. Когда захочешь, ты услышишь «Аппассионату».

Он улыбнулся.

— Ты дал ей пианино.— Речь шла о золотоволосой Сибил. Я повесил завесу между миром и моим сверхъестественным слухом и пока что не хотел ее поднимать — даже ради восхитительных звуков ее музыки, по которым я уже очень скучал.

Как только мы вошли в монастырь, Сибил заметила пианино и шепотом спросила меня, можно ли

ей поиграть. Оно стояло не в часовне, где лежал Лестат, а подальше, в другом помещении, длинном, пустом. Я ответил ей, что это не вполне прилично, что это может помешать Лестату. Мы же не знаем, что он думает, что чувствует,— быть может, ему плохо, быть может, он попал в ловушку собственных снов.

— Возможно, когда ты придешь, ты ненадолго останешься,— сказал Мариус.— Тебе понравится, как она играет на моем пианино. А потом мы поговорим, ты сможешь отдохнуть и пожить с нами, сколько захочешь.

Я не ответил.

— Мой дом — настоящий дворец по понятиям Нового Света,— сказал он с несколько насмешливой улыбкой.— Он очень близко. Там есть просторные сады, старые дубы, высокие окна. Ты же знаешь, как мне это нравится. Все в римском стиле. Двери, открытые навстречу весеннему дождю, а весенний дождь здесь чудесен, как мечта.

— Да, я знаю,— прошептал я.— Он, наверное, и сейчас идет, да?

Я улыбнулся.

— Ну да, я весь вымок,— почти весело ответил он.— Приходи, когда захочешь. Не сегодня, так завтра...

— Нет, я приду сегодня.— Я совсем не хотел его обижать, нет, но Бенджи и Сибил уже достаточно насмотрелись на белолицых монстров и наслушались их бархатных голосов. Пора уходить.

Я посмотрел на него довольно-таки смело и даже получил от этого удовольствие, преодолев проклятие застенчивости, наложенное на нас современным ми-

ром. В старину, в Венеции, он одевался пышно, как тогда было принято, всегда украшал себя роскошью — зеркало моды, говоря прежним изящным языком. Когда он вечером, в мягком фиолетовом полумраке пересекал площадь Сан-Морео, все на него оборачивались. Красное было его неотъемлемой частью, красный бархат — развевающийся плащ, великолепный расшитый камзол, а под ним — туника из золотого шелка, очень популярный в то время наряд.

У него были волосы молодого Лоренцо Медичи, прямо с фрески.

— Господин, я люблю тебя, но сейчас я должен остаться один,— сказал я.— Ведь я вам сейчас не нужен, сударь? Зачем? И всегда был не нужен.— Я мгновенно пожалел об этом. Дерзким был не тон, а слова. Так как наши мысли разделяла близость крови, я боялся, что он меня неправильно понял.

— Херувим, мне тебя не хватает,— всепрощающим тоном сказал он.— Но я могу подождать. Кажется, не так давно, когда мы были вместе, я уже говорил тебе эти слова, теперь я их повторяю.

Я не мог заставить себя сказать ему, что мне пришлось время общаться со смертными, объяснить, как я стремлюсь просто проболтать всю ночь с маленьким Бенджи, он — настоящий мудрец, или послушать, как моя любимая Сибил снова и снова играет свою сонату. Казалось бессмысленным вдаваться в дальнейшие объяснения. И меня опять охватила печаль, тяжелая, явственная, из-за того, что я пришел в этот одинокий пустой монастырь, где лежит Лестат, не способный, или же не желающий, ни двигаться, ни разговаривать, этого никто из нас не знает.

— Из моего общества сейчас ничего не выйдет, господин,— сказал я.— Но, безусловно, если ты дашь мне ключ, где тебя искать, тогда, по прошествии времени...— Я не закончил.

— Я за тебя боюсь! — внезапно прошептал он с особенной теплотой.

— Еще больше, чем раньше, сударь? — спросил я. Он задумался. И сказал:

— Да. Ты любишь двух смертных детей. Они для тебя — и луна, и звезды. Пойдем, поживи со мной, хотя бы недолго. Расскажи мне, что ты думаешь о нашем Лестате, о том, что случилось. Расскажи, может быть, если я пообещаю вести себя спокойно и не давить на тебя, ты выразишь свою точку зрения на то, что ты недавно видел.

— Вы так деликатно затрагиваете эту тему, сударь, я вами просто восхищаюсь. Вы хотите сказать — почему я поверил Лестату, когда он сказал, что побывал в раю и в аду, вас интересует, что я увидел, взглянув на принесенную им реликвию, на Плат Вероники.

— Если захочешь рассказать. Но на самом деле я хочу, чтобы ты пришел и отдохнул.

Я положил руку на его пальцы, изумляясь, что, несмотря на все, что я пережил, моя кожа почти такая же белая, как у него.

— Потерпи моих детей, пока я не приду, хорошо? — попросил я.— Они воображают себя бесстрашными злодеями, потому что пришли со мной сюда, беспечно насвистывая, в самое, так сказать, пекло живых мертвецов.

— Живых мертвецов,— сказал он с неодобрительной улыбкой.— Какие слова в моем присутствии! Ты же знаешь, я это ненавижу.

Он быстро запечатлел на моей щеке поцелуй, что застало меня врасплох, но тут я осознал, что его уже нет.

— Старые фокусы,— произнес я вслух, думая, достаточно ли он близко, чтобы меня услышать, или он так же яростно заслоняет от меня свои уши, как я заслоняю свои от внешнего мира.

Я посмотрел в сторону, мечтая остаться в покое, и внезапно подумал о беседках, не словами, но образами, как умели мои прежние мысли, захотел лечь на садовые клумбы среди растущих цветов, прижаться лицом к земле и тихо что-нибудь спеть про себя.

Весна на улице, тепло, нависший туман, который превратится в дождь. Вот чего мне не хватало. И еще болотистых лесов вдали, но при этом мне нужны были Сибил и Бенджи, нужно было уйти и обрести немного воли, чтобы жить дальше.

Ах, Арман, ее-то тебе вечно не хватает, воли. Не допускай, чтобы повторилась старая история. Вооружись всем, что с тобой произошло.

Кто-то был рядом.

Неожиданно мне показалось ужасным, что какой-то незнакомый бессмертный вторгается в обрывки моих личных мыслей и, может быть, стремится эгоистично приблизиться к моим чувствам. Это оказался всего лишь Дэвид Тальбот.

Он появился из крыла часовни, пройдя по холлам монастыря, соединяющим ее, как мост, с основным

зданием, пока я стоял наверху лестницы, ведущей на второй этаж.

Я увидел, как он вошел в холл, оставив позади стеклянную дверь, ведущую в сад, а за ней — мягкий, смешанный золотисто-белый свет дворика.

— Все спокойно,— сказал он,— на чердаке никого нет, и, конечно, вы можете туда подняться.

— Уходи,— сказал я. Я испытывал не злость, а искреннее желание, чтобы мои мысли не читали, а эмоции оставили в покое. Он проигнорировал мою реплику с удивительным самообладанием, а потом сказал:

— Да, я боюсь вас, немного, но при этом мне ужасно любопытно.

— Ну ясно. Значит, это оправдывает тот факт, что ты за мной следил?

— Я за вами не следил, Арман,— сказал он.— Я здесь живу.

— Вот как. Тогда прости меня,— согласился я.— Я и не знал. Полагаю, я рад, что ты его охраняешь, не оставляешь одного.— Я, естественно, говорил о Лестате.

— Вас все боятся,— спокойно уточнил он. Он занял небрежную позу в нескольких футах от меня, скрестив руки на груди.— Видите ли, знания и обычаи вампиров — предмет, достойный изучения.

— Только не для меня.

— Да, я понимаю,— сказал он.— Я просто размышлял вслух, надеюсь, вы меня простите. Насчет убитого ребенка на чердаке. Это в высшей степени раздутая история, об очень незначительном человечке. Может быть, если вам повезет больше, чем осталь-

ным, вы увидите призрак ребенка, чью одежду замуrowали в стене.

— Ты не возражаешь, если я тебя рассмотрю? — спросил я. — Раз уж ты собрался с таким самозабвением копаться у меня в голове? Мы же встречались раньше, еще до того, как это случилось: Лестат, путешествие на небеса, этот дом. Я никогда тебя подробно не разглядывал. Либо от безразличия, либо из вежливости, не знаю.

Я сам удивился горячности своего голоса. Мое настроение все время менялось, и не по вине Дэвида Тальбота.

— Я знаю о тебе лишь то, что известно всем, — сказал я. — Что ты родился не в этом теле, что ты был пожилым человеком, когда Лестат с тобой познакомился, что тело, где ты обитаешь, принадлежало ловкой душе, способной перескакивать из одного живого существа в другое, а затем торговать им, являясь при этом нарушителем прав собственности.

Он обезоруживающе улыбнулся.

— Так говорил Лестат. Так он написал. Это, конечно, правда. Вы же знаете. Знаете с тех пор, когда мы встречались.

— Три ночи мы провели вместе, — сказал я. — И я ни разу тебя ни о чем не спрашивал. То есть ни разу даже не посмотрел тебе в глаза.

— Мы тогда думали о Лестате.

— А сейчас — нет?

— Я не знаю, — ответил он.

— Дэвид Тальбот... — Я смерил его холодным взглядом. — Дэвид Тальбот, Верховный глава ордена психодетективов, известного как Таламаска, был ката-

пультирован в тело, в котором сейчас и обитает.— Не знаю, пересказывал ли я уже известные мне факты, или придумывал на ходу.— Там он либо закрепился, либо не смог выбраться, запутавшись в сетях вен-канатов, а потом его хитростью заманили в вампиры, в везучий организм вторглась пламенная кровь, запечатав внутри его душу и превратив в бессмертного; мужчина со смуглой бронзовой кожей и сухими, блестящими и густыми черными волосами.

— Кажется, вы все правильно поняли,— ответил он со снисходительной вежливостью.

— Джентльмен-красавчик,— продолжал я,— карамельного цвета, с такой кошачьей легкостью движений и с таким манящим взглядом, что мне приходит на ум все, что когда-то меня восхищало, плюс смесь запахов корицы, гвоздики, перца и прочих специй — золотых, коричневых, красных... Эти ароматы пронзают мой мозг и повергают меня в бездну эротических желаний, которые сейчас еще живее, чем прежде, они вот-вот разыграются. Кожа у него пахнет орехами кешью и густым миндальным кремом. Правда.

Он засмеялся.

— Я вас понял.

Я сам себя шокировал. Мне стало паршиво.

— Я не уверен, что сам себя понял,— извинился я.

— Думаю, здесь все ясно,— сказал он.— Вы хотите, чтобы я оставил вас в покое.

— Слушай,— быстро прошептал я.— Я не в себе. Все мои ощущения перепутались, сплелись в узел, как нитки — вкусовые, зрительные, осязательные. Я себя не контролирую.

Я лениво и злобно подумал, не стоит ли напасть на него, схватить, заставить склониться перед моим мастерством и коварством и попробовать его кровь, не спрашивая согласия.

— Я уже слишком далеко продвинулся для этого,— сказал он,— и зачем вам так рисковать?

Какое самообладание! Его опыт и интеллект действительно управляли здоровой молодой плотью — мудрый смертный с железной властью над вечностью и сверхъестественными силами. Какая смесь энергий! Приятно было выпить его кровь, получить его помимо его воли. Ничего нет на земле веселее, чем изнасилование равного тебе по силе.

— Не знаю,— пристыженно сказал я. Изнасилование недостойно мужчины.— Не знаю, зачем я тебя оскорбляю. Понимаешь, я хотел побыстрее уйти. То есть я хотел зайти на чердак, а потом оказаться где-нибудь подальше отсюда. Я хотел избежать подобных страстей. Ты удивительный, при этом ты считаешь, что я тоже удивительный, и это забавно.

Я обвел его взглядом. Да, истинная правда, во время последней нашей встречи я оставался к нему слеп.

Одевался он сногшибательно. С изобретательностью былых времен, когда мужчины прихорашивались, как павлины, он выбирал золотисто-красноватые и темно-коричневые оттенки. Элегантный, хорошо сложенный, весь в аксессуарах из чистого золота — часы в жилетном кармане, пуговицы и тонкая булавка в современном галстуке, в цветном лоскуте ткани, популярном у мужчин этой эпохи, словно они сами напрашиваются на то, чтобы их ухватили за аркан. Нелепое украшение. Даже блестящая

рубашка из хлопка была рыжевато-коричневой, вызывая ассоциации с солнцем и нагретой землей. Даже ботинки коричневые, глянцевые, как спины жуков. Он подошел ко мне.

— Вы знаете, о чем я сейчас попрошу,— сказал он.— Не нужно бороться с невысказанными мыслями, с новыми ощущениями, с непреодолимым прозрением. Напишите мне лучше о них книгу.

Такого вопроса я предугадать не мог. Я был удивлен, приятно удивлен, но тем не менее он застал меня врасплох.

— Написать книгу? Я? Арман?

Я направился к нему, резко повернулся и взлетел по ступенькам на чердак, обогнул третий этаж и оказался на четвертом.

Густой, теплый воздух. Это место каждый день жарится на солнце. Все сухое, приятное, дерево пахнет ладаном, а пол весь в трещинах.

— Девочка, где ты? — спросил я.

— То есть ребенок,— поправил он.

Он подошел сзади и ради приличия выдержал паузу. Потом добавил:

— Ее здесь никогда не было.

— Откуда ты знаешь?

— Будь она призраком, я мог бы ее вызвать,— сказал он.

Я оглянулся через плечо.

— Ты обладаешь такой силой? Или тебе просто хочется поддержать разговор? Прежде чем ты осмелишься продолжать, позволь предупредить тебя, что мы почти никогда не обладаем способностью видеть духов.

— Я совсем другой,— пояснил Дэвид.— Я ни на кого не похож. Я попал в Мир Тьмы, имея в своем распоряжении другие возможности. Если позволите, я скажу, что мы, вампиры, развиваемся как вид.

— Глупый шаблон.— Я двинулся вглубь чердака, где увидел маленькую оштукатуренную комнатку с шелушащимися на стенах розами, с большими, гибкими, красиво нарисованными викторианскими розами с бледно-зелеными пушистыми листьями. Я вошел внутрь. Сквозь окно проникал свет, но оно располагалось слишком высоко для ребенка. Безжалостно, подумал я.

— А кто сказал, что здесь умер ребенок? — спросил я. Под многолетней пылью все было чисто. Чужого присутствия не ощущалось. Отлично, вполне справедливо, подумал я, никакой призрак меня не утешит. Почему это специально ради меня из своего сладостного покоя должны возвращаться призраки? Ради того, чтобы я, может быть, прижался к воспоминанию о ней, к ее хрупкой легенде. Как убивают детей в приютах, если за ними ухаживают одни монашки? Я никогда не считал, что женщины настолько жестоки. Сухие, возможно, без воображения, но не агрессивны до такой степени, как мы, чтобы убивать.

Я поворачивался из стороны в сторону. У одной стены выстроился ряд сундуков. Один из них был открыт — в нем лежали старые ботинки, маленькие коричневые «оксфордские», как их называют, ботинки с черными шнурками, и теперь моим глазам открылась дыра, ранее находившаяся у меня за спиной, пролом в стене, из которого вырвали ее одежду. Сва-

ленная прямо там, одежда лежала заплесневелая и мятая.

Меня сковала неподвижность, как будто эта пыль стала тонким льдом, сошедшим с высоких пиков надменных и чудовищно эгоистичных гор, чтобы заморозить все живое, чтобы сомкнуться и навсегда положить конец всему, что умеет дышать, чувствовать, видеть сны или жить. Он заговорил стихами:

— «Не бойся больше солнечной жары,— прошептал он.— Не бойся бурь бушующих зимы. Не бойся...»

Я вздрогнул от удовольствия. Я знал эти строфы. И любил их. Я встал на колени, как перед причастием, и потрогал ее одежду.

— А она была маленькая, не больше пяти, и совсем она здесь не умерла. Никто ее не убивал. Ничего в ней особенного нет.

— Как же ваши слова противоречат мыслям,— сказал он.

— Неверно, я думаю о двух вещах одновременно. Сам факт убийства человека придает ему индивидуальность. Меня убили. Нет-нет, не Мариус, как ты мог бы подумать,— другие.

Я знал, что говорю тихо и высокомерно, потому что не собирался устраивать драму.

— Воспоминания окутывают меня, как старые меха. Я поднимаю руку — и ее накрывает рукав воспоминаний. Я оборачиваюсь — и вижу другую эпоху. Но знаешь, что меня пугает больше всего? Что это состояние, как и все прочие мои состояния, в конечном счете ничего не докажет, однако растянется на века.

— Чего вы боитесь на самом деле? Чего вы хотели от Лестата, когда пришли сюда?

— Дэвид, я пришел его увидеть. Я пришел узнать, как у него дела, почему он лежит там и не двигается. Я пришел...— Продолжать я не собирался.

Благодаря глянцевым ногтям его руки казались украшением тела, необычными, ласковыми, милыми и приятными в прикосновении. Он достал платице, рваное, серое, усеянное кусочками кружев. Все, что облечено в плоть, может излучать головокружительную красоту, если сосредоточиться надолго, а его красота выставляла себя напоказ без оправданий.

— Просто одежда. Ситец в цветочек, бархатная тряпка со взбитым рукавом, не больше, чем яблоко,— в тот век и днем, и ночью все ходили с обнаженными плечами.

— Ее отнюдь не окружало насилие,— сказал он словно бы с сожалением.— Просто бедный ребенок, как вы думаете? Унылый как по натуре, так и по воле обстоятельств.

— Тогда скажи мне, почему их замуровали в стену? Какой грех совершили эти маленькие платья? — Я вздохнул.— Господи Боже, Дэвид Тальбот, почему бы нам не оставить девочке немного романтики и славы? Ты меня злишь. Ты говоришь, что можешь видеть призраки. И как, они тебе нравятся? Ты любишь с ними разговаривать. Я мог бы рассказать тебе об одном призраке...

— Когда же вы мне расскажете? Послушайте, разве вы не заметили приманку? — Он встал и правой рукой смахнул пыль с колен. В левой он держал подобранное с пола платье. Меня чем-то раздражало

это сочетание — высокое существо с мятым платьем маленькой девочки в руке.

— Знаешь, если подумать,— сказал я, отвернувшись, чтобы не смотреть на платье в его руке,— нет у Бога веской причины для существования маленьких мальчиков и девочек. Подумай о нежном потомстве других млекопитающих. Разве различают пол среди щенков, котят или жеребят? Никто об этом не думает. Полузрелое хрупкое существо бесполо. Нет зрелища великолепнее, чем маленькая девочка или мальчик. У меня в голове столько мнений! Наверное, она взорвется, если я что-нибудь не сделаю, а ты говоришь — написать для тебя книгу. Ты думаешь, это возможно, думаешь...

— Вот что я думаю: когда вы напишете книгу, то расскажете всю историю так, как вам бы хотелось!

— И где здесь великая мудрость?

— Ну подумайте, для большинства из нас речь — это просто выражение наших чувств, просто вспышка. Послушайте, обратите внимание на то, как у вас проявляются эти взрывы.

— Не хочу.

— Хотите, однако не такие слова вам хотелось бы прочесть. Когда пишешь, все по-другому. Создается повествование, не важно, пусть фрагментарное, или экспериментальное, или не принимающее в расчет общепринятые нормы удобства. Попробуйте. Нет, нет, у меня появилась идея получше.

— Какая?

— Пойдемте вниз, в мои комнаты. Я уже говорил, что теперь живу здесь. Из моих окон видны деревья. Я живу не так, как наш друг Луи, который бродит из

одного пыльного угла в другой, а потом возвращается в свою квартиру на Рю-Рояль, убедив себя в очередной, тысячный, раз в том, что Лестату ничто не угрожает. У меня в комнатах тепло. Освещение в старом стиле: я использую свечи. Пойдемте вниз, а там я запишу ее, вашу историю. Говорите со мной. Ходите по комнате, проповедуйте, если хотите, или обвиняйте, да, обвиняйте, а я все запишу, и тогда сам факт, что я записываю, заставит вас придать ей форму. Вы начнете...

— Что?

— Рассказывать, что произошло. Как вы умерли, как вы выжили.

— На чудеса не настраивайтесь, хитроумный ученый. Я не умер в то утро в Нью-Йорке. Я *чуть* не умер.

Он меня несколько заинтриговал, но я ни за что не смог бы выполнить его просьбу. Тем не менее он был честен, на удивление честен, насколько я мог определить, и вследствие этого — искренен.

— Да нет, я говорил не в буквальном смысле. Я имел в виду: что значило подняться так высоко навстречу солнцу, столько страдать, а в результате, как вы сказали, обнаружить в своих страданиях все эти воспоминания, все связующие звенья? Расскажите мне! Расскажите.

— Нет, если ты намерен сделать из этого связный рассказ,— резко сказал я. Я проверял его реакцию. Я ему не надоед. Он хотел продолжать разговор.

— Связный рассказ? Арман, я просто запишу все, что вы скажете.— В его голосе звучало неподдельное любопытство.

— Честно?

Я окинул его игривым взглядом. Сделать такое?! Он улыбнулся, встряхнул платье и аккуратно бросил его в середину кучи другой старой одежды.

— Я не изменю ни единого слова,— сказал он.— «Побудь со мной, откройся мне, моей отдайся страсти».— И опять улыбнулся.

Внезапно он направился ко мне почти в такой же агрессивной манере, в какой я раньше собирался приблизиться к нему. Он просунул руки мне под волосы и потрогал мое лицо, потом собрал мои волосы, уткнулся лицом в кудри и рассмеялся. Он поцеловал меня в щеку.

— Волосы у тебя сотканы словно из янтаря, если янтарь расплавить на свече и растянуть на длинные тонкие воздушные нити, чтобы они застыли в таком положении и превратились в эти сияющие локоны. Ты очаровательный, как мальчик, и красивый, как девушка. Жаль, что я не могу хотя бы мельком увидеть, каким ты был у него, у Мариуса, в старинном бархате. Хотелось бы мне хоть на секунду увидеть тебя — в чулках, в подпоясанном камзоле, расшитом рубинами. Посмотри на себя, ледяное дитя. Моя любовь тебя даже не трогает.

Неправда.

У него были горячие губы, под ними чувствовались клыки, я ощутил, как внезапно настойчиво напряглись его пальцы, снова сжавшие мой череп. От этого у меня по спине побежали мурашки, все тело напряглось и вздрогнуло, я не мог и предвидеть, что мне будет так приятно. Я отверг эту одинокую интимность,

до такой степени, чтобы направить ее в другое русло или же совершенно от нее избавиться. Скорее я умру или уйду в темноту, без затей, одинокий, с заурядными слезами на глазах.

По выражению его глаз я решил, что он умеет любить, ничего не отдавая. Никакой не знаток, обычный вампир.

— Я из-за тебя голоден,— прошептал я.— Мне нужен не ты, а тот обреченный, кто до сих пор жив. Я хочу поохотиться. Прекрати. Что ты меня трогаешь? С чего это ты такой ласковый?

— Перед тобой никто не устоит,— сказал он.

— А как же! Кто откажется попользоваться маленьким пикантным греховодником? Кому не хочется получить веселого ловкого мальчика? Дети вкуснее женщин, а девушки слишком похожи на женщин, но мальчишки? Они не похожи на мужчин, да?

— Не издевайся надо мной. Я имел в виду, что просто хотел прикоснуться к тебе, почувствовать, какой ты гибкий, вечно молодой.

— Это я, что ли, вечно молодой? — сказал я.— Чушь ты говоришь для такого красавчика. Я пошел. Я голоден. А когда я закончу, когда согреюсь и наемся, я приду поговорю с тобой и расскажу все, что хочешь.

Я отступил от него, однако вздрогнул, когда он отпустил мои волосы. Я посмотрел в пустое белое окно, слишком высокое, чтобы увидеть деревья.

— Они здесь ничего зеленого не видели, а на улице весна, южная весна. Ею пахнет даже через стены. Я хочу хотя бы минуту посмотреть на цветы. Убить, выпить кровь и посмотреть на цветы.

— Так не пойдет. Я хочу написать книгу,— сказал он.— Прямо сейчас, я хочу, чтобы ты пошел со мной. Я здесь целую вечность сидеть не буду.

— Чепуха, конечно будешь. Думаешь, я кукла, да? Ты думаешь, что я привлекательный, что я отлит из воска, и ты будешь сидеть здесь столько же, сколько и я.

— А ты довольно вредный, Арман. Выглядишь как ангел, а разговариваешь как заурядный голово-рез.

— Какое высокомерие! Я-то думал, ты меня хочешь.

— Только на определенных условиях.

— Врешь, Дэвид Тальбот,— сказал я.

Я направился мимо него к лестнице. В темноте пели цикады — они часто поют в Новом Орлеане всю ночь напролет.

Через девятигранные окна на лестнице я заметил цветущие весенние деревья, плющ, скрутившийся над крыльцом.

Он шел за мной. Мы спускались ниже и ниже, ступенька за ступенькой, как обыкновенные люди, дошли до первого этажа и, миновав искрящиеся стеклянные двери, оказались на широкой освещенной Наполеон-авеню, в центре которой, подалее, располагался влажный, душистый зеленый парк, парк, полный аккуратно высаженных цветов и старых, шишковатых и смиренно склоненных деревьев.

Вся эта картина шевелилась на слабом речном ветру, в воздухе висел, не опускаясь над самой рекой, мокрый туман, а на землю падали, кружась в воздухе, как губительный пепел, крошечные зеленые листья.

Мягкая-мягкая южная весна. Даже небо вот-вот, казалось, разродится весной — снижаясь, краснея от отраженного света, всеми порами источая туман.

От садов справа и слева поднимался резкий аромат, исходящий от фиолетовых цветов, разросшихся, как сорняки, но с бесконечно сладким запахом и диких ирисов, прорезающих черную грязь, как клинки, с чудовищно большими лепестками, бьющимися о старые стены и бетонные ступеньки, и, как всегда, от роз, роз старух и юных женщин, роз слишком цельных для тропической ночи, роз, покрытых ядом.

Здесь, по центральной полоске травы, проехала машина. Я узнал ее, она оставила свой след среди буйной глубокой зелени, по которой я шел навстречу трущобам, навстречу реке, навстречу смерти, навстречу крови. Он следовал за мной. Я мог бы закрыть глаза на ходу и не сбиться с пути, и видеть машины.

— Давай-давай, иди за мной, — сказал я не в качестве приглашения, но в качестве комментария к его действиям.

За несколько секунд — несколько кварталов. Он не отставал. Очень сильный. В его жилах, можно не сомневаться, течет кровь всего королевского двора. В создании самого смертоносного из монстров на Лестата можно положиться, после стольких-то первоначальных соблазнительных ошибок — Николая, Луи, Клодия, ни один из них был не в состоянии о себе позаботиться, двое погибли, один остался, наверное слабейший из всех вампиров, но он тем не менее бродит по огромному миру.

Я обернулся. Меня поразило его напряженное гладкое лицо. Он выглядел так, словно его покрыли

лаком, навощили, отполировали, и мне опять пришли на память специи, ядра засахаренных орехов, восхитительные запахи, сладкий сахаристый шоколад и густой темный жженный сахар, и неожиданно мне показалось, что неплохо было бы его схватить.

Но он не заменит мне гнусного, дешевого, спелого и зловонного смертного. И что же я сделал? Показал ему:

— Вон там.

Он взглянул в этом направлении. Он увидел осевшие очертания старых зданий. За каждой облезлой стеной, под каждым потрескавшимся потолком, среди крошечных узких лестниц прятались, спали, обеды, бродили смертные.

Я нашел его, идеально безнравственного; он ждал меня — шквал тлеющих угольков ненависти, злобы, жадности и презрения.

Мы дошли до Мэгазин-стрит и прошли дальше, но еще не достигли реки, хотя она была почти рядом; об этой улице у меня не сохранилось никаких воспоминаний, или я не забредал на нее во время моих скитаний по этому городу — их городу, Луи и Лестата; обычная узкая улица под луной, с домами цвета плавника, с окнами, прикрытыми импровизированными занавесками, за одним из которых сидел этот ссутулившийся, высокомерный, жестокий смертный, приклеившийся к телеэкрану, с жадностью глотающий солодовый напиток из коричневой бутылки, не обращая внимания на тараканов и пульсирующую жару, рвущуюся в открытое окно; уродливое, потное, грязное и неотразимое существо, созданная для меня плоть и кровь.

Дом настолько кишел паразитами и крошечными мерзкими тварями, что больше всего напоминал скорлупу, треснувшую, ломкую, вездесущие тени делали ее похожей на лес. Никаких санитарных норм. Среди куч мусора и сырости гнила даже мебель. Урчащий белый холодильник покрывала плесень. Только вонючая постель и лохмотья выдавали истинное, жилое, предназначение дома.

Подходящее гнездо для этой дичи, для этой мерзкой птицы, для толстого, сытного мешка костей, крови и потрепанного оперения, годного только на то, чтобы ощипать его и съесть.

Я оттолкнул дверь в сторону — навстречу мне, словно рой мошек, поднялась человеческая вонь — и тем самым сорвал ее с петель, но без особенного шума.

Я прошел по газетам, раскиданным по крашеным половицам. Апельсиновые корки превратились в коричневатую кожу. Бежали тараканы. Он даже голову не поднял. Его опухшее пьяное лицо отливало жутковатой синевой, но при этом в нем было, возможно, и что-то ангельское — благодаря свету лампы.

Он взмахнул волшебным пластиковым приборчиком, чтобы переключить канал, экран мигнул и беззвучно заморгал, и он включил громкость — песня, играет группа, пародия, хлопают люди.

Дрянные звуки, дрянные картинки, как и окружающий его мусор. Ладно, ты мне нужен. Больше никому.

Он поднял глаза на меня, маленького агрессора, Дэвид ждал слишком далеко, чтобы он его увидел.

Я толкнул телевизор в сторону. Он покачнулся и упал на пол, его детали разбились, словно внутри находилось множество склянок с энергией, теперь превратившихся в осколки.

В нем моментально возобладали ярость, зарядив его лицо сонливым узнаванием.

Он поднялся, расставив руки, и набросился на меня.

Перед тем как впиться в него зубами, я заметил, что у него были длинные, спутанные черные волосы. Грязные, но густые. Они держались за спиной при помощи завязанной в узел у основания шеи тряпки и рассыпались по пестрой рубашке толстым хвостом.

Надо признать, в нем оказалось достаточно густой, одурманенной пивом крови, которой хватило бы и на двух вампиров, и яростное бойцовское сердце, а при этом — столько плоти, что забираться на него было все равно что оседлать быка.

Когда пьешь кровь, все запахи приятны, даже самые прогорклые. Я, как всегда, подумал, что сейчас тихо умру от счастья.

Я поспешно набрал полный рот крови, подержал ее на языке и пропустил в желудок, если таковой у меня имеется, чтобы остановить алчную грязную жажду, но не настолько, чтобы лишить этого типа воли.

Он впал в забытие и начал сопротивляться, сделал большую глупость, вцепившись мне в пальцы, а потом совершил опасную бестактность — попытался добраться до моих глаз. Я крепко зажмурился и дал ему нажать на глаза жирными большими пальцами. Никакой пользы это ему не принесло. Я мальчишески стойкий. Нельзя ослепить слепого. Я был слишком занят кровью, чтобы обращать внимание. К тому же

мне было приятно. Эти слабаки, стремясь оцарапать кожу, только гладят ее.

Его жизнь прошла мимо, словно все, кого он когда-нибудь любил, проехали на «американских горках» под искрящимися звездами. Хуже, чем на картине Ван Гога. Пока мозг не извергнет свои ярчайшие краски, нельзя узнать настоящую палитру того, кого убиваешь.

Вскоре он сдался. Я опустился на пол вслед за ним. Теперь уже я обхватил его левой рукой и лежал, прижимаясь к его большому мускулистому животу, как ребенок, и пил кровь большими торопливыми глотками, выжимая все его мысли, видения и чувства, чтобы они слились в один цвет, мне нужен только цвет чисто оранжевый; и на секунду, когда он умирал — когда мимо меня большим шаром черной энергии, которая в конечном счете оказывается пустотой, просто дымом или того меньше, прокатилась смерть, — когда смерть вошла в меня и вышла назад, как ветер, я подумал, не лишаю ли я его конечного понимания, сокрушая все, чем он был?

Чепуха, Арман. Ты знаешь то, что известно духам, что известно ангелам. Этот подонок отправляется домой! На небеса. На небеса, которые отказались от тебя, причем, может быть, навсегда. Мертвым он выглядел просто отлично.

Я сел рядом с ним. Я вытер рот — нет, на нем не осталось ни капли крови. У вампира изо рта капает кровь только в кино. Даже самые приземленные бессмертные слишком опытные, чтобы пролить хотя бы каплю. Я вытер рот, потому что у меня на губах и на лице был его пот и я хотел от него избавиться.

Тем не менее я восхищался им — несмотря на внешность толстяка, он оказался большим и удивительно жестким. Я восхищался черными волосами, льнущими к влажной груди в тех местах, где порвалась рубашка.

Его черные волосы представляли собой достойное зрелище. Я сорвал стягивающий их тряпичный узел. Густые и пышные, как у женщины.

Удостоверившись, что он мертв, я намотал их на левую руку и вознамерился выдернуть всю шевелюру из скальпа. Дэвид охнул.

— Тебе это необходимо? — спросил он.

— Нет,— сказал я. Но от скальпа все равно оторвалось несколько тысяч волосков, каждый — с собственным крошечным окровавленным корнем, сверкнувшим в воздухе, как яркий ночной светлячок. Мгновение я удерживал прядь волос в руке, потом они выскользнули из моих пальцев и упали за его повернутую набок голову.

Вырванные с корнем волосы небрежно упали на его грубую щеку. Глаза были влажными, как желе, и, казалось, еще не утратили способности видеть.

Дэвид отвернулся и вышел на узкую улицу. Вокруг гремели и ревели машины. На речном корабле пел свисток.

Я пошел за ним. Я стер с себя пыль. Одним ударом я мог разрушить весь дом, крыша просто обрушилась бы в зловонную грязь, и он бы тихо умер среди остальных домов, чтобы никто из жильцов даже и не узнал об этом, все влажное дерево просто бы рухнуло. Я никак не мог избавиться от вкуса и запаха пота.

— Почему ты так возражал против того, чтобы я вырвал его волосы? — спросил я. — Я просто хотел забрать их, он же умер, ему все равно, а никто другой не будет по ним скучать.

Он повернулся с коварной улыбкой и смерил меня взглядом.

— Твой вид меня пугает, — сказал я. — Неужели я по небрежности разоблачил в себе чудовище? Знаешь, моя блаженная смертная Сибил, когда она не играет сонату Бетховена, известную как «Аппассионата», все время смотрит, как я охочусь. А теперь ты хочешь, чтобы я рассказал тебе свою историю?

Я бросил последний взгляд на труп с обвисшим плечом. На подоконнике над ним стояла синяя стеклянная бутылка, а в ней — оранжевый цветок. Ну не проклятие ли это?

— Да, очень хочу, — сказал Дэвид. — Пойдем вернемся вместе. Я просил тебя не вырывать его волосы только по одной причине.

— Да? — спросил я. Я посмотрел на него. С довольно-таки искренним любопытством. — И по какой же причине? Я всего-то собирался вырвать его волосы и выбросить.

— Все равно что оторвать крылышки у мухи, — предположил он без видимого осуждения.

— У мертвой мухи, — ответил я. И намеренно улыбнулся. — Ну же, из-за чего весь этот шум?

— Я хотел проверить, послушаешь ты меня или нет, — сказал он. — Вот и все. Потому что, если бы ты меня послушал, между нами все было бы в порядке. И ты остановился. Вот все и в порядке. — Он повернулся и взял меня за руку.

— Ты мне не нравишься! — сказал я.

— О нет, нравлюсь, Арман,— ответил он.— Давай, я все запишу. Шагай по комнате, проповедуй, обвиняй. Сейчас ты на высоте, ты сильный, потому что у тебя есть двое замечательных маленьких смертных, цепляющихся за каждый твой жест, они у тебя как служители у Бога. Но ты хочешь рассказать мне свою историю, сам знаешь, что хочешь. Ну же!

Я не мог удержаться от смеха.

— И что, эта тактика уже приносила результат?

Теперь наступила его очередь смеяться, что он и сделал в добродушной манере.

— Нет, вряд ли,— сказал он.— Но давай поставим вопрос так: напиши книгу для них.

— Для кого?

— Для Бенджи и Сибил.— Он пожал плечами.— Нет?

Я не ответил.

Написать книгу для Бенджи и Сибил. Мысли перенесли меня в будущее, в веселую безопасную комнату, где мы соберемся вместе несколько лет спустя — я, Арман, не изменившийся маленький учитель, и Бенджи с Сибил в расцвете своей смертной жизни, Бенджи вырастет в стройного, высокого джентльмена с арабскими пленительными чернильными глазами, с любимой сигарой в руке, мужчина с большими перспективами и большими возможностями, и моя Сибил, гибкая, с пышными царственными формами, с золотыми волосами, обрамляющими овальное лицо взрослой женщины с пухлыми губами и глазами, полными чарующего, скрытого сияния, еще более вели-

кая пианистка, чем сейчас, выступающая с концертами.

Смогу ли я продиктовать в этой комнате свою историю и подарить им книгу? Книгу, продиктованную Дэвиду Тальботу? Смогу ли я, выпуская их из своего алхимического мира, подарить им эту книгу? Ступайте, дети мои, забирайте с собой все богатства и напутствия, какими я могу вас наделить, а теперь еще и эту книгу, так давно написанную для вас мною вместе с Дэвидом.

Да, сказала моя душа. И все-таки я повернулся, сорвал с жертвы черный волосатый скальп и топнул по нему ногой. Дэвид даже не поморщился. Англичане такие вежливые.

— Отлично,— сказал я,— я расскажу тебе мою историю.

Его комнаты располагались на втором этаже, недалеко от того места, где я задержался на лестнице. Какой контраст по сравнению с пустыми, не обогреваемыми холлами! Он устроил себе настоящую библиотеку, со столами, с креслами. Медная кровать, сухая и чистая.

— Это ее комнаты,— сказал он.— Разве ты не помнишь?

— Дора,— сказал я. И неожиданно вдохнул ее запах. Надо же, он сохранился повсюду. Но все ее личные вещи исчезли.

Должно быть, это его книги — а как же иначе? Новые спиритуалисты: Дэннион Вринкли, Хиларион, Мелвин Морс, Брайан Уэйс, Мэтью Фокс, Урантия. Плюс старые тексты: Кассиодор, святая Тереза Авильская, Григорий из Тура, Веда, Талмуд, Тора, Кама Сут-

ра, все на языке оригинала. Несколько малоизвестных романов, пьесы, стихи.

— Да.— Он сел за стол.— Мне свет не нужен. А тебе?

— Я не знаю, что тебе рассказать.

— Ясно,— сказал он и достал автоматическую ручку. Он открыл блокнот с поразительно белой бумагой, размеченной тонкими зелеными линейками.— Ты поймешь, что мне рассказать.— Он посмотрел на меня.

Я стоял, обхватив себя руками, уронив голову, как будто она может отвалиться и я умру. Волосы упали мне на грудь. Я подумал о Сибил и Бенджамине, о моей тихой девочке и жизнерадостном мальчике.

— Они тебе понравились, Дэвид, мои дети? — спросил я.

— Да, с первого взгляда, как только ты их привел. Они всем понравились. Все смотрели на них с любовью и уважением. Столько сдержанности и обаяния. Наверное, каждый из нас мечтает о таких спутниках, верных смертных друзьях, обезоруживающе милых, которые не сходят с ума и не кричат. Они тебя любят, но не находятся во власти ужаса или под гипнозом.

Я не двигался. И не говорил. Я закрыл глаза. В голове у меня раздался быстрый, дерзкий марш из «Аппассионаты», грохочущие, искрящиеся волны музыки, болезненной и ломко-металлической — «Аппассионаты». Только она звучала в голове. Без золотистой длинноногой Сибил.

— Зажги свечи, все, какие есть,— нерешительно сказал я.— Тебе не сложно? Приятно, когда много

свечей, да, смотри, на окнах все еще висят кружева Доры, свежие, чистые. Я люблю кружева, это брюссельский *point de gaze*, или очень похоже, да, я от них без ума.

— Конечно, я зажгу свечи,— сказал он.

Я повернулся к нему спиной. Я услышал резкий, восхитительный треск маленькой деревянной спички. Я понюхал, как она горит, а потом до меня донесся жидкий аромат склоняющегося фитиля, скручивающегося фитиля, и вверх поднялся свет, обнаружив на полосатом потолке голые кипарисовые доски. Еще треск, новая цепочка тихих, приятных, мягких хрустящих звуков, и свет разросся, опустился на меня и почти что озарил мрачную стену.

— Зачем ты это сделал, Арман? — сказал он.— Да, на Плате, вне всякого сомнения, было изображение Христа, создавалось впечатление, что это и есть священный Плат Вероники, видит Бог, в него поверили тысячи людей, да, но в твоем случае — почему, почему? Да, я не могу не признать, что оно обладало ослепительной красотой — Христос в терновом венце, его кровь, глаза, смотрящие прямо на нас, на нас обоих, но почему ты так безусловно поверил в него, Арман, после стольких лет? Зачем ты ушел к нему? Ведь ты хотел именно этого?

Я покачал головой. И постарался, чтобы мои слова прозвучали мягко и просительно.

— Соберись с силами, ученый,— сказал я, медленно поворачиваясь к нему.— Следи за своей страницей. Это для тебя и для Сибил. Да, это и для моего маленького Бенджика. Но в своем роде — это моя симфония для Сибил. История начинается очень дав-

но. Может быть, я никогда по-настоящему не признавал, насколько давно,— до этого самого момента. Слушай и записывай. А я буду шагать по комнате, проповедовать и обвинять.

